

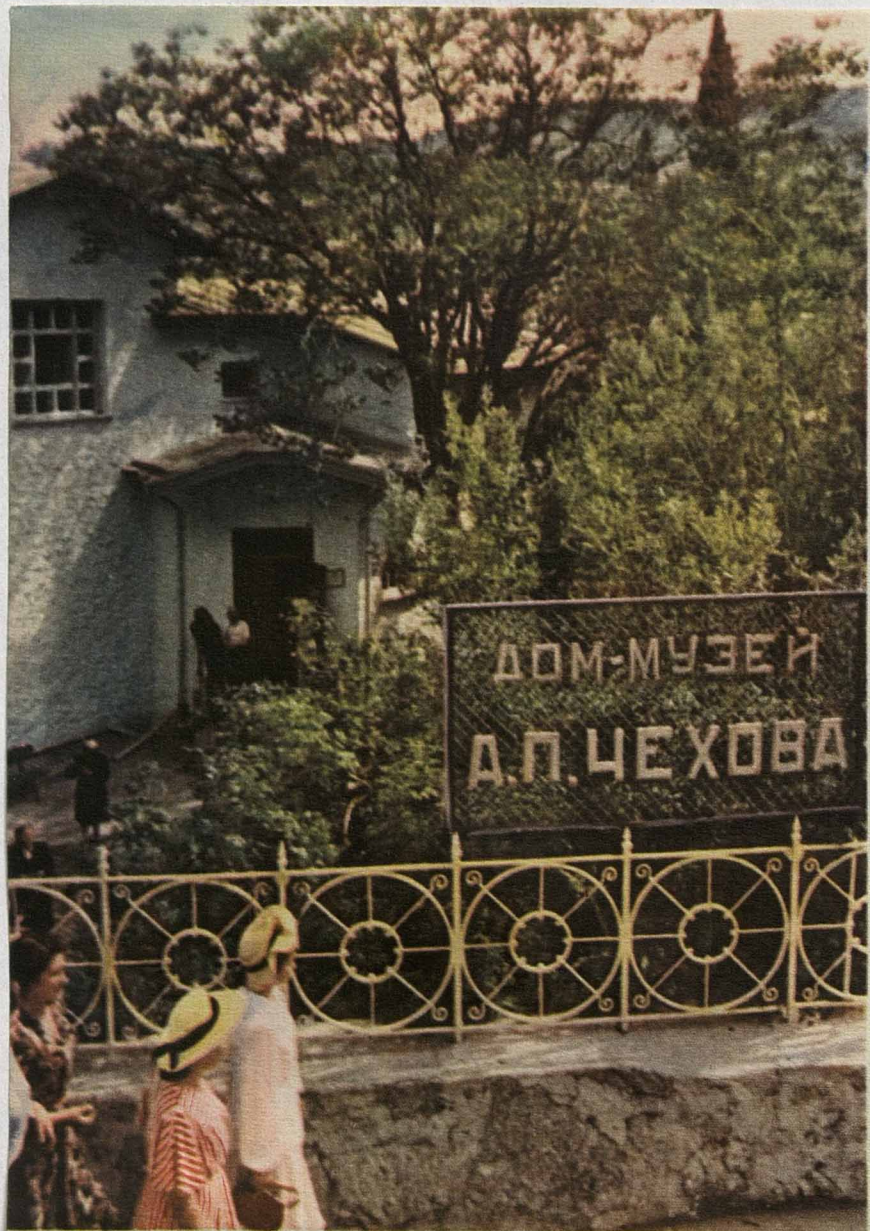
ГОНЁК

*Желание служить
общему благу должно
непрерывно быть
потребностью души,
условием личного
счастья...*

А. Тихоф

Рисунок
И. ГРИНШТЕРНА.





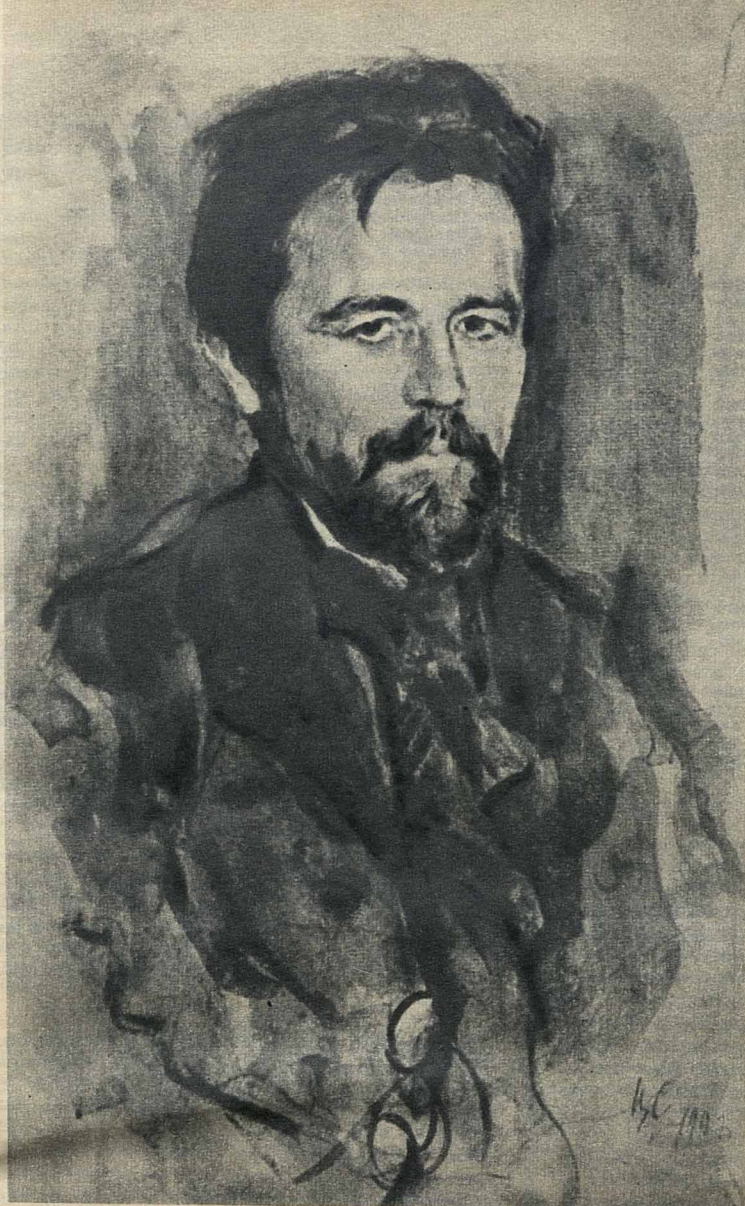
Дом-музей
А. П. Чехова
в Ялте.



Спальня А. П. Чехова
в Ялтинском
доме-музее.



Музей А. П. Чехова в
Москве. Здесь Антон
Павлович жил с 1886 по
1890 год.
Фото И. Тункеля.



В. Серов. А. П. ЧЕХОВ.
1902 год.

БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ ПРЕКРАСЕН

Корней ЧУКОВСКИЙ

У Чехова есть откровенно тенденциозный рассказ «Именины», все содержание которого сводится к единственной заповеди: не лги никому, никогда, ни при каких обстоятельствах.

Это даже не рассказ, а моральная притча о том, как смертельно опасна самая невинная ложь. Празднуется день именин в зажиточной помещичьей семье. Приезжают гости, поздравляют, причем дело, как всегда, не обходится без маленьких общепринятых притворств и обманов, за которые Чехов беспощадно казнит героиню самую страшную казнью: у нее, жаждавшей материнства, как счастья, рождается мертвый ребенок.

Не слишком ли сурова эта кара? Но весь рассказ для того и написан, чтобы продемонстрировать с неотразимой наглядностью, что даже малейший обман влечет за собой грозные катастрофы и бедствия.

Здесь Чехов не признавал никаких компро-

миссов. Еще незрелым юнцом он напечатал очень наивный рассказ «Он и она», в котором попытался отнестись снисходительно к некоему моту и пьянице лишь за то, что герой рассказа был боевым правдолюбом, никогда не мирившимся с ложью.

За это жена героя прощает ему все прегрешения.

«Когда кто-нибудь,— говорит она,— (кто бы то ни было) скажет ложь, он поднимет голову и, не глядя ни на что, не смущаясь, говорит: — Неправда!»

Это его любимое слово... Не всякий умеет сказать это хорошее, смелое слово, а муж мой произносит его везде и всегда».

Рассказ написан неумелой рукой, и, может быть, поэтому в нем с особенной прямолинейностью высказана заветная мысль писателя: человек должен, не опасаясь ничего, бросать в лицо кому бы то ни было «хорошее, смелое слово»:

— Неправда!

Сам Чехов в те юные годы тоже охотно прощал человеку все слабости, если замечал у него такое же пристрастие к правде. Существовал в Москве испившийся, вечно нетрезвый стихотворец Л. Пальмин, и, конечно, многим казалось нелепостью, что Чехов отдает ему столько часов своего воистину драгоценного времени. Чехов в одном из писем объяснил эту странность так: «... можете быть уверены, что за все 3—4 часа беседы Вы не услышите ни одного слова лжи...»

Самое бранное слово в чеховском словаре было «ложь».

«Что за ужас иметь дело со лгунами!» — писал он одному из таких же лгунов о каком-то художнике, пытавшемся продать ему имение.

«Продавец художник лжет, лжет, лжет без надобности, глупо — в результате ежедневные разочарования. Каждую минуту ожидаешь новых обманов... Художник делает вид, что предан мне всей душой, и в то же время учит мужиков обманывать меня».

И замечательно: почти все его разочарования в людях, к которым он был искренне привязан в ранние годы своей писательской жизни, — а таких разочарований выпало ему на долю немало — объясняются именно тем, что эти люди в огромном своем большинстве оказались далеко не такими приверженцами полной и безоглядной правдивости, какими он считал их вначале.

Раньше всего «затрещала» его привязанность к Лейкину, редактору журнала «Осколки», в котором Чехов усердно сотрудничал еще со студенческих лет. Присмотревшись к нему несколько ближе, Чехов писал своему старшему брату: «...скотина, чуть не задавил меня свою ложью...»

И снова через месяц: «Хромому черту не верь. Если бес именуется в св. писании отцом лжи, то нашего редактора можно наименовать по крайней мере дядей ее... Вообще лгун, лгун и лгун...»

Та же причина заставила Чехова порвать с Григоровичем, к которому он на первых порах отнесся, как известно, с порывистой и почитательной нежностью.

«Ваше письмо, мой добрый, горячо любимый благовеститель,— писал он Григоровичу в середине восьмидесятых годов,— поразило меня, как молния... Как Вы приласкали мою молодость, так пусть бог успокоит Вашу старость...»

Но прошло несколько лет, и Чехов стал писать о своем «благовестителе» так: «...Те, которые давали обед приезжавшему Григоровичу, говорят теперь: как много мы лгали на этом обеде и как много он лгал!»

И в другом письме: «Вчера приходил Григорович... врал».

И снова: «Врет он».

И сделал из всего этого единственный вывод: «Был когда-то еще Григорович, да сплыл». Это написал он старому поэту, к которому долго относился с сыновней привязанностью.

Но когда поэт, получив на старости лет очень большое наследство, стал разыгрывать из себя чванного барина и оказалось, что он тоже далек от чеховского идеала правдивости, Чехов отошел и от него: «Надо быть большой овцой, чтобы... верить в его дружбу».

Так он написал своему другу Суворину, не предвидя, что через несколько лет придется написать то же самое и о нем, о Суворине, к которому он на первых порах прилепился душой, неизменно восхищаясь его «искренностью», «страстью», «чуткостью». Лишь к середине девяностых годов Чехову мало-помалу удалось разглядеть, что это падший, растленный, циничный и, главное, фальшивый старик, весь продавшийся реакционному лагерю, не стоивший ни одного из тех простодушно-доверчивых писем, которые Чехов писал ему в таком изобилии.

В конце концов окончательное суждение Чехова об «искреннем», «страстном» и «чутком» Суворине свелось все к тому же суровому приговору, который был вынесен и другим недавним друзьям:

«Суворин лжив, ужасно лжив, особенно в так называемые откровенные минуты...»

Конечно, были и другие причины, которые заставили его порвать приятельские связи с

Сувориным, но можно ли сомневаться, что «ужасная лживость» его бывшего друга сыграла здесь не последнюю роль!

Вообще большой, до сих пор не разгаданной загадкой представляется то обстоятельство, что Чехов, глубокий психолог, так долго не мог разобраться в тех людях, которые окружали его, и лишь потом, словно внезапно прозревший, увидел, что верить в их дружбу немислимо. «Новых привязанностей нет,— признавался он в 1892 году,— а старые ржавеют мало-помалу и трещат под напором всеокрушающего времени».

Правда, с некоторыми из своих прежних друзей он все еще по инерции продолжал переписываться, но душевная тональность его переписки стала совершенно иной. И оттого так разительно непохожи последние три тома его писем на первые три. Слово написано другим человеком! Из присущей ему деликатности он нередко сохранял в своих письмах видимость былого дружелюбия, но уже никому не писал нараспашку, стал холоднее и замкнутее, и, главное, из его писем совершенно исчезла та богатая словесная живопись, которой буквально сверкали первые три тома — вплоть до середины девяностых годов. Там он был готов без конца рисовать для друзей и родных все, что ни попадется ему на глаза: крестный ход, казачью свадьбу, вагонного попутчика, степь; здесь ни красок, ни образов, словно ему уже не с кем делиться щедротами своей чеховской живописи.

II

Нужно ли говорить, что то горькое разочарование в своих прежних друзьях, которое Чехову пришлось испытать, всякий раз вызывало в нем мучительную душевную боль?

«Меня окружает,— писал он сестре 14 января 1891 года,— густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десяткам своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство!.. Не люди, а какая-то плесень».

Окончательно он убедился в злом двуличии этих людей в тот убийственный для его гордости день, когда на петербургских казенных подмошках так громко провалилась его «Чайка».

А. П. Чехов с матерью Евгенией Яковлевной в Ялте. 1901. Из архива С. М. Чехова.



Неизвестные автографы

Много лет назад, перебирая растрепанные и истерзанные книги на одном из книжных развалов, я нашел в жалком, самом бедственном состоянии книгу А. Чехова «Остров Сахалин» с дарственной авторской надписью Николаю Владимировичу Алтухову. Алтухов был прозектором Московского университета, однокурсником Чехова по медицинскому факультету.

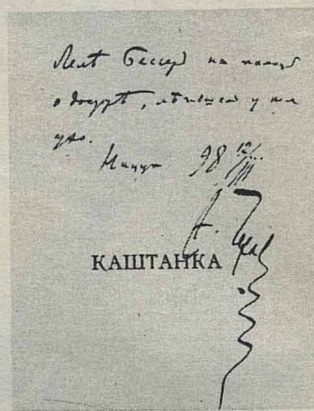
Я принес эту пострадавшую от времени книгу домой, отдал ее старому переплетчику, всегда принимавшему близко к сердцу судьбу книг, и он вернул мне книгу: в отличном переплете стоит она у меня в шкафу и поныне.

Несколько лет спустя в мои руки попала другая книга Чехова, «Дуэль», с его автографом, подаренная актеру Александринского театра Павлу Матвеевичу Свободину, к которому Чехов испытывал чувство нежной дружбы. Свободин играл в пьесах Чехова роли Шабельского в «Иванове», Светликова в «Калхасе», Ломова в «Предложении».

Из чеховской надписи на книге можно узнать, что Павла Матвеевича Свободина друзья называли ласково «Поль Матиас».

В 1898 году тяжелобольной Чехов провел некоторое время в Ницце. К нему обращались, видимо, за врачебной помощью некоторые из живших в Ницце русских. На маленькой книжке «Каштанка», хранящейся в моей библиотеке, есть надпись Чехова «Леле Бессер на память о докторе, лечившем у нее ухо».

Семейство Бессеров было знакомо Чехову по русскому пансиону в Ницце. Про Бессеров Чехов писал в письме А. А. Хотяинцевой: «У т-те Бессер желтая рубашечка с палевым воротничком, а у т-г Б[ессер] — лысина и лысина, и больше ничего». Леля Бессер была, видимо, маленькой дочкой Бессеров.



К книгам Чехова с его автографами у меня особое чувство; тонкий, нежный почерк Чехова как бы хранит отблеск его натуры, с величайшим сочувствием и уважением относившейся к любому человеку, который был достоин этого.

Вл. ЛИДИН

«...Те,— писал Чехов,— с кем я до 17-го окт[ября] дружески и приятельски откровенничал, беспечно обедал, за кого ломал копы (как, например, Ясинский) — все эти имели странное выражение, ужасно странное...»

То было выражение злорадства. Как и всяким завистникам, этим людям было чрезвычайно приятно тяжкое горе человека, которому до той поры они изъясляли притворную преданность. Это злорадство Ясинского чувствуется в каждой строке его ругательной статьи о провалившейся чеховской пьесе.

Не странно ли, что Чехов лишь к середине девяностых годов окончательно убедился в двуличии этих людей и понял, что даже подруга его сестры, поэтесса, над которой он до недавнего времени так благодушно подтрунивал, тоже пропитана лживостью: «Она хитрит, как черт, но побуждения так мелки, что в результате выходит не черт, а крыса».

Словом, приближаясь к концу своего литературного поприща, Чехов мог с полным правом сказать о себе то, что позднее было сказано Блоком:

Было время надежды и веры большой — Был я прост и доверчив, как ты.

Шел я к людям с открытой и детской душой, Не пугаясь людской клеветы...

А теперь — тех надежд не отыщешь следа, Все к далеким звездам унеслось. И к кому шел с открытой душой тогда, От того отвернуться пришлось.

До какого лицемерия доходили мнимые друзья и почитатели Чехова, мне лично привелось убедиться года через три после смерти писателя, когда, приехав в Петербург, я в несколько дней познакомился и с Потапенко, и с Леонтьевым-Щегловым, и с Ясинским, и с Гнедичем, и с Тихоновым-Луговым, и с Альбовым, и с Баранцевичем, и с другими представителями той писательской группы, которая казалась мне наиболее близкой к Чехову! Меня сильно удивила ее ничем не прикрытая враждебность к нему. Только Владимир Тихонов, Василий Немирович-Данченко да Леонтьев-Щеглов говорили о Чехове с непритворным сочувствием. Остальные были явно ущемлены его славой.

В июле 1890 года Владимир Тихонов, как мы недавно узнали, писал о Чехове в своем дневнике: «А сколько завистников у него между литераторами завелось. Альбов, Шеллер, Голицын, да мало ли!.. А некоторые из них, например, мой брат мне просто ненавистен за эту зависть и вечное хуление имени Чехова...»

Владимир Тихонов был гораздо талантливее своего самовлюбленного брата — Алексея Лугового, автора претенциозных романов, очень

обижавшегося, если при нем хвалили, например, Льва Толстого. Он совершенно искренне считал себя непризнанным гением. Когда в разговоре с ним я стал изливать свой восторг перед Чеховым, он насупился и сердито сказал:

— Дутая знаменитость!

И поспешил перевести разговор на другое.

О том, как относились к нему все эти Ясинские, Шеллеры-Михайловы, Чехов понял с большим запозданием. Сам он был так непричастен ко лжи, что всякий раз, когда ему случалось натолкнуться на ложь окружающих, удивлялся ей как большой неожиданности. И каждый, кого Чехов уличал в обмане, переставал существовать для него.

Людям заурядной, житейской морали такое требовательное правдолюбие Чехова не могло не казаться чрезмерным.

Часто он видел ложь даже там, где на поверхности взгляд не было никакого нарушения истины. Ибо даже истина, настаивал писатель, может ощущаться как ложь, если она внушена человеку каким-нибудь фальшивым побуждением.

Изогвавшаяся мать обманутого жизнью подростка (в рассказе «Володя») нисколько не грешит против правды, когда сообщает соседям о своем родстве с одной генеральской семьей. Володя, по словам Чехова, «знал отлично, что тапап говорит правду; в ее рассказе... не было ни одного слова лжи, но тем не менее, все-таки он чувствовал, что она лжет. Ложь чувствовалась в ее манере говорить, в выражении лица, во взгляде, во всем».

— Вы лжете! — повторил Володя и ударил кулаком по столу с такой силой, что задрожала вся посуда и у тапапа расплескался чай. — Для чего вы рассказываете про генералов и баронесс? Все это ложь!»

Из чего следует, что даже безукоризненно правдивые факты могут ощущаться как самая лукавая ложь, если за ними скрываются какие-нибудь лицемерные помыслы.

Таков был чеховский максимализм правдивости.

III

Этот максимализм правдивости сослужил Чехову великую службу в его борьбе, как сказал бы Белинский, с «гносной расейской действительностью».

Когда в 1888 году Чехов начал свой великий поход против лжи, царившей во всех жизненных отношениях тогдашних людей, и написал для «Северного вестника» обличительный рассказ «Именины», о котором мы говорили, редактор по прочтении рукописи сообщил молодому писателю, что считает его рассказ безыдейным. «...Я не вижу в Вашем рассказе никакого направления», — писал он.

Чехов поспешил возразить: «Но разве в рассказе от начала и до конца я не протестую против лжи? Разве это не направление?»

Слова Чехова едва ли убедили редактора, который, как легко догадаться, счел чеховский «протест против лжи» всецело относящимся к узкой области личной морали. Между тем в повальном лгании, которое изображено в «Именинах», Чехов видел всероссийское зло, ибо ложью были в то время, как ядом, пропитаны все поры тогдашней общественной жизни. Вспомним хотя бы знаменитую концовку «Человека в футляре», где слышатся проклятия всему социальному строю, основанному на лицемерии и ханжестве:

«Видеть и слышать, как лгут... и тебя же называют дураком за то, что ты терпишь эту ложь; сносить обиды, унижения, не смея открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и все это из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена,—нет, больше жить так невозможно!»

Вот какой громадный политический смысл таился в чеховском обличении лжи. Чехов имел полное право назвать свой протест против нее направлением.

Общественная мораль, твердил он, только тогда и сильна, когда она опирается на высокое благородство каждого.

Чехов никогда не отделял личной морали от общественной. Люди, нечестные в личном быту, не могут быть, по убеждению Чехова, искренними борцами за социальную правду. Оттого он так презирал либеральных фразеров, которые, собравшись за ресторанным столом, любили в пьяных речах похваляться своей горячей любовью к народу.

Чехов так и записал у себя в дневнике:

«Обедать, пить шампанское, галдеть, говорить речи на тему о народном самосознании, о народной совести, свободе и т. п., в то время, когда кругом стола снуют рабы во фраках, те же крепостные, и на улице, на морозе ждут кучера,—это значит лгать святому духу».

Но был общественный слой, в котором сквозил всю его темноту и забитость Чехов видел тяготение к правде и глубокую веру в нее.

«...Все же, приглядываясь к нему (к мужику. — К. Ч.) поближе,—говорит в «Моей жизни» маляр Мисайл,—чувствуешь, что в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле — правда, и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость».

То же и в рассказе «По делам службы», где изображен старый крестьянин, замученный бессмысленной и беспросветной работой, и все же, как говорится у Чехова, сохраняющий глубокую веру «в то, что на этом свете неправдой не проживешь».

А если это так, то не ясно ли, что правдолюбие Чехова — глубоко народная, национальная черта его личности?

Конечно, дело было гораздо сложнее, чем можно изобразить в краткой журнальной статье. Я очень далек от намерения выставить Чехова каким-то сусальным праведником. Чехов был живой человек, очень сложный, не чуждый человеческих ошибок и слабостей, и если я так настойчиво подчеркиваю только одно его душевное свойство — непримиримую ненависть ко всяческой лжи, — то лишь потому, что этой ненавистью в моих глазах обусловлен основной характер его стиля, его языка, всей его литературной манеры.

Ибо можно ли сомневаться, что без этого культа безбоязненной, ничем не прикрашенной правды Чехову никогда не удалось бы создать тот смелый, беспощадно правдивый, новаторский стиль, который и сделал его величайшим реалистом эпохи.

Благодаря этому максимализму правдивости Чехов имел драгоценное право повторить вслед за Толстым, что герой всех его писаний, которого он любит всеми силами души, которого старается воспроизвести во всей красоте его и «который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда».

Восхищение, любовь...

Чехов пользуется на Востоке огромной любовью. В Китае переведены почти все его произведения... Как и вся русская культура, творчество Чехова стало культурным достоянием всего человечества.

Главнейшая причина популярности Чехова заключается, вероятно, в том, что форма и стиль его произведений близки и понятны восточному читателю, который более всего ценит в художественном творчестве лиризм и содержание, свободное от тяжелых и застывших красок.

Влияние Чехова на новую литературу и искусство Китая поистине огромно...

ГО МО-ЖО, Китай

Трудно представить себе драматурга, у которого не вызвало бы зависти одно свойство чеховских пьес. Свойство это — чувство равновесия (balance). В этом Чехов, по моему, ближе к Шекспиру, чем кто бы то ни было другой. Неизбежные искажения, вызываемые самой природой театра с его условно сжатым временем сценического действия, у Чехова не так бросаются в глаза, у него меньше подтасовки, меньше боязни показаться смешным, меньше боязни пафоса. Его художественная манера полна мягкости, он смотрит на мир взглядом добрым...

Главное, что мне хотелось бы подчеркнуть, сводится к тому, что в то время, как чеховское умение проникнуть во внутренний мир своих героев безгранично, в то время, как интерес свой он сосредоточивает прежде всего на их духовной жизни, его широкий взгляд художника простирается далеко за пределы индивидуальной психологии героев... Словом, пьесы Чехова отнюдь нельзя назвать психологическими этюдами. Они выражают весьма критическую точку зрения, характеризующую не только его героев, но и социальную среду, в которой они живут.

Артур МИЛЛЕР, США

Нет ничего удивительного в том, что Чехов так сразу и так сильно захватил нашего читателя. Из великих русских реалистов он во многих отношениях особенно нам близок. Мы неизменно восхищаемся человечностью замечательных образов Тургенева, Толстого, Достоевского, но, разумеется, не можем не чувствовать, что помещичий мир Тургенева, аристократическая среда Толстого и — в противоположность этому — пестрый kaleidoscope людей у Достоевского — это мир, которого у нас не было, в который нам, следовательно, нужно было вживаться, что, конечно, при большом искусстве этих мастеров слова было нетрудно. Но когда появился Чехов, он не мог не повлиять уже одним тем, что был нам близок и изображаемой им социальной средой. Его мелкая буржуазия, его интеллигенция и нам хорошо известны, часто они словно взяты из нашей жизни... Поэтому Чехов с его рассказами не попал у нас в чужую среду. Его демократизм находился в полном соответствии с демократическим духом чешской реалистической литературы.

Зденек НЕЕДЛЫ, Чехословакия

Антон Павлович Чехов — это был любимый автор нашей молодости. Это он вместе с Толстым, Тургеневым, Пушкиным, Щедриным формировал нашу духовную жизнь, учил глубоко понимать и любить человека, был бездонным кладом человечности и источником красоты жизни.

Т. СВАТОПЛУК, Чехословакия

Чеховская драматургия, ставя вопрос, могут ли люди, которые живут сейчас плохо, жить лучше, дает на это положительный ответ. И убедительность этого ответа достигается тем, что Чехов не вкладывает его в уста персонажей своих произведений, а дает его в подлинном реалистическом изображении действительности. Перед зрителем проходят живые люди во всей оригинальности их духовного облика, лишенные малейшей карикатурности, показанные в их подлинной социальной среде, такими, словом, какими их делает повседневная жизнь определенного класса, определенной страны в определенный исторический момент.

Сила Чехова в том и состоит, что он изображает пошлость и трагизм своих героев, не изолируя их от окружающей среды. Его занимает не «судьба Человека», а участь людей, живущих в обществе, которое они сами для себя создали и которое могут преобразовать.

Андре ВЮРМСЕР, Франция

Вряд ли существует в наши дни хоть один французский романист, который решился бы утверждать, что не испытал на себе прямого или косвенного влияния Чехова... А как велико было влияние чеховского творчества на мировую литературу его времени! Такой мастер рассказа, как, например, английская писательница Кэтрин Мансфилд, обязана ему решительно всем. Остальные писатели также обязаны ему в большей или меньшей степени, и во всяком случае Чехов произвел в свое время коренной переворот в жанре рассказа. А так как среди современных писателей очень мало или, вернее, совсем нет людей, не сохранивших связей с одним или несколькими представителями старшего поколения, я уверен, что в жилах каждого романиста наших дней есть хоть капля «писательской крови» Чехова.

А если говорить о себе, то я прекрасно знаю, что, не будь Чехова, я не писал бы так, как пишу. Художественные приемы, использованные в моем рассказе «Морское безмолвие», восходят к приемам англо-саксонских романистов начала века, а те, в свою очередь, восходят к приемам Антона Чехова. Разумеется, мои произведения похожи на произведения Чехова не более, чем бывает похож ребенок на своих многочисленных предков, но литературовед без труда мог бы обнаружить в них то, что ведет начало от Чехова. Это, мне кажется, относится и к большинству современных писателей. Вот почему каждый из нас должен питать к Антону Чехову не только чувство глубокого восхищения, но и сыновней любви.

ВЕРКОР, Франция